ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ
Поэт и эссеист. Родился в 1968 году в Москве. Окончил филологический факультет Московского государственного педагогического института. В 2007 году в рамках фестиваля «Территория» избран королем поэтов. Был автором и ведущим программ о литературе на «Радио России» и радио «Культура»: «Записки неофита», «Своя колокольня», «Свободный вход», «Воскресная лапша». Вел авторскую программу «Тайные смыслы» на Общественном телевидении России.
Ведет программу на радио «Культура» «Поэтический минимум». Автор колонок в изданиях «Газета.ру», «Стори», «Литературная газета», «Учительская газета».

МОЛОКО

* * *

Я вижу так много людей,
чьи лица я помню,
но чьи имена забыл,
что лишний раз стараюсь их имена не трогать.

– Вы хоть кого-нибудь бы запомнили. Ну чисто для прикола.
– Ну вас же я помню, Маша.
– Я Саша.

(Перебираю имена: одни теплые, другие шершавые, третьи – скользкие,
обвились вокруг пальцев, вскрикнул, сразу же сбросил.)

Лицо лучше имени. Имя – это то, что дали тебе другие.
Лицо же ты носишь, и хотя тебе его тоже дали,
сплели свои нити:
нити на лицевой стороне ровные, красивые, никакие,
а в изнанке одни узелки, спутанные хотелки, разноцветные швы –
но оно хотя бы твое.

Где я?

Где та жизнь, которую мне обещали в детстве?
Где та страна, где я собирался жить?
Где тот отдел инженерный, где я собирался работать?
(Я и расчеты, точные цифры – отдельное униженье,
я даже документы и книги подписываю будущим годом.)

Что это там из тьмы ползет-доползает ко мне? Где я?
Что это за люди приходят ко мне,
брезгливо трогают мое тело?
Говорят: это уже все не то. Где я?
Где эта Гдея? гигантский суперматерик наподобье Гондваны с Пангеей.

(Где, где, где, где, где – если долго повторять это слово,
оно становится похожим на художника Ге или какого-то гада.)

...Однажды я был в Амстердаме, смотрел на любимого мною Ван Гога,
«Вороны над пшеничным полем»:
увидел в месиве застывших пастозных красок,
в самой точке по-детски написанной птички,
дырку от черенка кисти.
Видимо, Ван Гог в бессилье и в подползавшем к нему безумье
ударил им в еще не застывшую краску.

Вот мы и есть эта дырка в уже затвердевшей краске:
ущерб, причиненный картине,
укол, причиненный картине,
удар, нанесенный картине,
делают ее как раз совершенно бесценной.

Русский художник Николай Николаевич Ге (в этот момент входит в текст
светящий ангел)
так отвечал на нападки прессы, что, дескать, Христос на одной картине
выглядит недостойно:
«Не может человек, которого били всю ночь, походить на розу!»

Даже если нас не пытали, мы не можем быть похожи на розу.
Картина, в которой ты сходишь с ума, не должна быть похожа на розу.
Наше лицо не может проснуться с утра без вылезших вдруг из изнанки
спутанных снов.
(В этот момент в мой подъезд входит светящийся ангел.)

Возьми мое имя, потрогай его, покрути так и сяк,
возьми меня за лицо, рассмотри все ущербы поближе:
я и тот мальчик, собиравшийся быть инженером, живем с тобой на разных
планетах:
кто-то смеется тут по-английски, кто-то по-русски,
я английского не понимаю, поэтому вообще не смеюсь.

(В этот момент святящийся ангел уже на моем этаже.)

Где ты? Я видел так много людей,
что устал.
Где ты? Сходятся материки и опять разбегаются,
дырка в картине растет,
а у лифта – толпа.

То ли утро моих именин, то ли день моей смерти,
все люди, которых я когда-то забыл, кого поименно не помню,
с не разлепляемыми именами,
набились сюда, с чем-то меня поздравляют,
между собой говорят по-английски, французски, китайски, ивритски,
со мною – по-русски,
открывают бутылки,
говорят, что я белоснежный.

А потом я вдруг вижу тебя.

* * *

Сколько хотелось дач – снять на четыре сезона, увидеть весну, лето и осень
и немного зимы.
Так и не снял – ничего не увидел.
Где-то стоит мой чужой, хозяйский, на весну и на лето снятый плетеный
стульчик;
над ним наливаются яблоки,
осенью падают вниз:
бум, стукает третье яблоко – прямо мне по башке:
«Эврика, – говорю, – я знаю, что делать с новой любовью».

Ничего.

Ровным счетом ничего.
Пусть такая и будет:
стоит в миске, в прохладном месте, наливается соком, потом, как молоко, подкисает,
становится сливками, после будет сметана.

Жизнь отсепарируется, да так, что и самого тебя отсепарирует,
отделит тебя от любви, от любимых, от кое-каких друзей,
отсепарирует от ненужных книжек,
от возраста,
от лишних – уже не по размеру – вещей.

...Ты говоришь: пора-пора, надо уже собираться.
Нет, это не возьмем, это тоже.
Паспорт можно оставить в комоде, вторые джинсы тебе не понадобятся,
мы все там тебе купим: золотые яблоки, белые облака,
будут тебе там молочные реки, кисельные берега.
Что говоришь? Не любишь молоко? Ну будут тебе кефирные реки.

Господи, какое счастье, что можно так долго ехать,
пять часов назад окинув прощальным взглядом свою уже нежилую комнату,
сколько же я был здесь счастлив, сколько несчастлив,
сколько раз равнодушен и сколько раз якобы просветлен.
Чух-чух-чух, говорят колеса. Входит проводница,
говорит: «Вообще-то вам полагается завтрак. Но я вам его не дам».
Ну и не надо.

Все эти сцены я видел уже когда-то. Просто я не знал, что это репетиция смерти.
А они это знали: и та проводница,
в вагоне которой я ехал из Нижнего Новгорода,
и та девочка, которая мне подарила на короткой остановке значок,
и тот парень, который посмотрел мне прямо в глаза, наклонился слишком близко ко мне
и сказал: «Выпить хочешь?»

Хочу. Я хочу выпить. Но ангел мне говорит:
«Помнишь, ты однажды забыл в самолете в верхнем отсеке полупустую сумку?
Вышел уже в зал прилета и вдруг хватился.
Звонил по специальному номеру, требовал сумку обратно.
Но тебе говорили: “Еще нет”. “Нет”. “Ее еще не принесли”.
Ты сидел тогда в поднебесном кафе, пил вино, писал по телефону (ты жил тогда не один):
“Мне еще не вынесли сумку”, смотрел на закрытую дверь.
Потом через час подошел к той же двери,
вызвонил по телефону, заветная дверца открылась, и та же сказавшая “нет” стюардесса сразу же вынесла сумку.
В общем, она уже там сразу была.
Просто им было лень с тобою возиться.
Но пока ты сидел битый час, как в чистилище,
не имея возможность уехать в Москву, ты чувствовал счастье».

Ясно, думаю я, сейчас мы будем чистить мои грехи.

* * *

Грех мой первый, мой серебряный,
кря-кря-кря да ко-ко-ко.
Помнишь? В кухне у Вермеера
наливали молоко.

Молоко лилось, завихриваясь. В белой чашке с голубым.
Было имя там написано. Имя странное Какдым.
Имя странное Какнебыло, имя Будтонесбылось.
Молоко, как лебедь белая, мимо чашки пролилось.

Стол заполнило с прорехами,
а потом, стянув бока,
пролилось и вниз поехало
занавесью молока.

Затопило кухню, по полу
потекло, как на Оке:
вся квартира, словно Серпухов,
утонула в молоке.

* * *

Люблю, как пахнут собаки во время дождя.
Люблю, как пахнет человек, пришедший с дождя (собаки и люди пахнут совершенно по-разному).
Как пахнет ангел, попавший под дождь, никогда не нюхал.
Мы попали под дождь, сидим на автобусной остановке,
я незаметно (повернул влево голову, как будто высматриваю автобус)
пытаюсь это понять.

– Не надо пытаться понюхать мои крылья.
– А мне и не надо.

На самом деле мокрый ангел пахнет цитрусом, апельсином.
Как птица конюга в период брачного ритуала – недалеко от Чукотки, у Берингова пролива.
Или если по-русски, то ангел пахнет просроченным Новым годом.

Ты мой подарок, говорю ему я. Ты мой новогодний подарок.
Не говори «перепрыгнул», говорит он мне, пока еще не сказал «гоп».

* * *

Ангел мне объясняет про число пи:
«Смотри, это ведь так понятно.
Число π – это математическая константа, выражающая отношение длины окружности
к длине ее диаметра.
Это число бесконечно.
Возможно, в нем скрыта тайна самой Вселенной.
В бесконечном потоке цифр можно даже отыскать номер твоего телефона...»

«А ПИН-код моей карты тоже можно отыскать?» – волнуюсь я.
«И его тоже можно».

«Смотри, все, что было раньше, все, что кружилось вокруг,
все, что проходило через центр, соединяя две точки
(двух возлюбленных, два события, две буквы круглого стихотворенья,
даже нас с тобой),
все это можно расчислить и рассчитать.

Но самое главное (и это тебе понравится):
кажется, что это число якобы рационально, но на самом деле оно
иррационально.
Оно иррационально, как вся твоя жизнь,
хотя ты так часто ищешь узор там, где нет никаких узоров».

Ангел в свое время принес мне целый мешок,
высыпал передо мной (а что-то осталось в мешке),
сказал: выбирай.
Там разные судьбы были: как гоночные машинки, как красивые иностранные куклы,
как школьный конструктор.
Я выбрал – лиловую,
с узором у венчика и на ветру.

У меня никого не осталось, кроме этого ангела. Я очень хочу ему понравиться.
Поэтому я спрашиваю, чтоб показать, что я все-таки не никудышный:
«А в каких единицах измеряется это число, папа?» – говорю я.
Гоп, и у меня в руках карандашик судьбы.

Идиот, – отвечает ангел.

* * *

Я тетешкаю своего ангела в колыбели,
он только недавно родился,
он маленький, он орет.
Я боюсь его поднять из постельки,
поэтому тетешкаю его прямо там:
«А это кто такой крикливый?
А это кто нам мешает спать?»

Ангела надо приютить, приручить, как-то вписать в свою жизнь,
объяснить его появленье, извиниться за эти крики,
рассказать соседям: «Ну да, вот не было у нас ничего, и вдруг появился ангел.
Ну что вы, ныне живущая Татьяна Иванна и покойная Анна Васильна, не знаю, как назову.
Может, вообще его сдам в дом малютки».

Но что-то мне подсказывает, что ни в какой дом малютки его не сдать.
С десяти вечера от него исходит сиянье.

Сиянья все больше, никакими шторами это не скрыть,
свет бьет из комнаты,
как будто здесь снимается фильм-катастрофа
(а здесь именно и снимают фильм катастрофу, где главный герой – я),
странно, что я не слепну.

Потом на следующее утро он куда-то исчез
(или через несколько лет?),
в колыбельке остался только остаточный свет,
клубничка, малинка, испорченный калейдоскоп,
винтики-шпунтики и гоночная машинка.

Мы на ней поедем домой.

* * *

Едем в Ангельск.
Он стоит на реке.
Налево пойдешь – частные домики, через поездные пути – разноцветные пятиэтажки.
Наш дом значительно дальше, надо выехать за пределы этого городишки,
проехать мимо кладбища, потом свернуть влево,
на проселочную дорогу. Дорога покрыта щебнем.
Там тебя встретит покойная ничейная собака Белка,
она завиляет хвостом, обрадуется (так она радуется всем знакомым, не обольщайся).

Там и стоит теперь навсегда мой, хозяйский, на вечную весну и на бесконечное лето
унаследованный по завещанью хитро плетенный стульчик;
над ним наливаются яблоки,
вечной осенью падают вниз:
бум, стукает четвертое яблоко – прямо мне по макушке:
«Эврика, – говорю, – я знаю, что делать с этими яблоками. Варенье».

Ты уже старый, говорю я ангелу, у тебя сушится кожа,
истончается, становится, как молодой папирус.
Возьми молоко (вон оно, там, стоит в непонятной миске,
в прохладном месте, уже налилось соком, подкисло, потом будет сметана),
сорви цветаевскую ягоду, только с грядки,
мы же культурные люди, и ягода у нас тоже культурна,
разбултыкай клубнику в сметане – и сделай себе маску.

Освежающую.

Хотя что тебя может уже освежить?

Ангел правда старый. Я его хороню
через несколько лет в жестяной конфетной коробке
(он с каждым годом все мельчал, мельчал, уменьшался
и стал совсем мотыльком).

А потом он похоронит меня.

Я до сих пор не могу понять: что там у нас с ростом?
То он больше меня, то я больше его.
(Какая-то ерунда. Кажется, с ростом я попал в молоко.)
А иногда мне кажется, что мы с ним еще до сих пор едем,
меняем поезда, самолеты, вызываем такси и едем.

Зачем мы едем, не знаю.
Во тьме ли мы едем, не знаю.
В свет ли мы едем, не знаю.
Вдвоем ли мы едем, не знаю.
Вообще ли мы едем, не знаю.

Но теперь мы едем домой.

Май – 20 мая 2023 года

«В ЭТУ ТИШЬ ГЛУХОНЕМУЮ...»

ВАСИЛИЙ НАЦЕНТОВ
Родился в 1998 году в Каменной Степи Воронежской области. Учится на географическом факультете Воронежского университета. Печатался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Наш современник», «Москва», «Кольцо А», «Сибирские огни», «Подъем», в «Литературной газете», «Литературной России» и др.

Сегодня трудно писать классические стихи. Почти все мы не выдержали «искушение верлибром», выбрались из-под правильных рифмованных «кирпичиков», как из-под завала, и стоим странниками с полотна Фридриха, и не знаем, что делать дальше. Но там, в каменной глубине стихотворной речи, в вековом силлабо-тоническом гуле столько еще жизни!

Книга Григория Князева «Живые буквы», изданная Ассоциацией союзов писателей и издателей России по итогам Всероссийской мастерской, — замечательное тому подтверждение.

Автор ее — поэт состоявшийся, занимающий свое уникальное место в современном литературном пространстве.

Получив в 2014 году российско-итальянскую премию «Белла», он без малого десять лет активно печатается в ведущих толстых журналах — от «Знамени» и «Нового мира» до «Дружбы народов» и «Звезды», участвует в семинарах для молодых писателей. «Живые буквы» — седьмая книга Князева!

При первом прочтении может показаться, что стихи простые. Но это очень благородная простота. В ней есть и поздняя пастернаковская ясность, и надмирная тютчевская таинственность, и такая необходимая своеобразность речи, которая одновременно продолжает и развивает традиционный строй стиха и тут же как бы опровергает его, где-то глубоко внутри сопротивляясь языковой инерции.

Традиция здесь не мертвая норма, какой любят прикрываться консерваторы, но свобода распоряжения ценностью, динамичная работа по параллельному реформированию и сохранению поэтического языка. Это работа в самом классическом, элиотовском, понимании, потому что поэзия — одно громадное, как дантовский Харон, коллективное усилие. Остальное же, что скрывается под личиной традиции, — не больше чем картонные перегородки, мнимые заслонки от прекрасного и яростного мира, — тысячи признаний в собственной слабости, замаскированные под добродетель.

В дневнике позднего Толстого есть интересная запись: «Все бедствия от предания, инерции старины. Кофточка разлетелась швам, так мы из нее выросли, а мы не смеем снять ее и заменить такой, какая впору, и ходим почти голые все от любви к старине». Это вполне характеризует и нас сегодняшних: даже набравшиеся смелости и снявшие старую «кофточку» формы не нашли одежды впору и действительно ходят голые, щеголяя и душевными, и физиологическими подробностями. Оставшиеся в лохмотьях, впрочем, никак не лучше.

Григорий Князев не относится ни к тем, ни к другим. Это тот редкий случай, когда золотую середину удается выдержать: он прост по старой моде, но по-современному изящен, почти всегда классически точен и легок. Хотя изредка все-таки попадает в ловушку приема или повторяет сам себя.

Писать такие стихи сегодня — значит рисковать. И по отношению к своей судьбе, и по отношению к той самой традиции, которая все полнее и неизбежнее переходит в наши в руки.

Вспоминается хрестоматийное самойловское:

Вот и все. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса.

Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и вяло и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нету их. И все разрешено.

Нам действительно разрешено все, потому что поэзия — это свобода. И в наших руках не только собственные стихи, но и вся русская литература, весь наш язык, перешептывающийся могучими яснополянскими и болдинскими кронами. Осталось только до конца осознать свою ответственность. В этом смысле с Григория Князева можно брать пример.

В стихотворении, которое открывает «Живые буквы», кажется, лучшем в книге, есть показательная строфа:

Мне далеко до Франциска Ассизского.
Целые ночи и дни напролет
Почта крылатая голоса близкого
Дальнему голосу музыку шлет.

Здесь заявлена не только важная перекличка далекого и близкого, которая не раз будет встречаться в книге и станет одним из самых важных сюжетов наряду с историко-генетическим контекстом, неизбежным и тяжелым для автора: «*Слава Богу, не все биохимия, // Слава Богу, не все Архимед – // Есть же нечто, что невыразимее, // Чем явление или предмет!*»

Неслучайно имя святого Франциска. Если разобраться, лирический герой Князева, да и сам поэт, все больше сливающийся со своим героем, — русский Франциск XXI века. Разом — и фотосинтез, и фикус, и красивый тихий ребенок «с корнями в Эдемском саду».